

Лидия Чарская

**Лидия Чарская. Том 40.
Золотая рота**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-053.2
ББК 84-4
Ч-22

Ч-22 **Чарская Л.**
Лидия Чарская. Том 40. Золотая рота / Лидия Чарская – М.: Книга по Требованию, 2012. – 120 с.

ISBN 978-5-458-04422-6

Причудливые, полные интриг приключения героев повестей Чарской переплетаются с их высокими, благородными чувствами и поступками. В том мире, который создала Лидия Чарская, негодяям и мерзавцам не удастся взять верх над светлыми, честными, чистыми душами. Ее герои такие, какими в основном наверняка хотелось бы стать и тебе: чтобы, несмотря на препятствия, все удавалось, чтобы тебя любили хорошие люди, а твоя душа отзывалась на эту любовь, бескорыстно и преданно.

ISBN 978-5-458-04422-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Лидия Чарская
Полное собрание
сочинений
Том сороковой

Повесть для юношества
С рисунками

Золотая рота

Глава первая

Марк лежал на траве и смотрел в небо, по которому бежали облака, похожие на куски ваты. В сердце Марка царили мгла и обида. А над головой его солнце близилось к закату.

Правая щека Марка горела, и это пятно на лице выжигало все светлое, доступное юности. Но у Марка Ларанского, несмотря на его восемнадцать лет, не было ни юности, ни детства. И он не жалел об этом. Он ни о чем никогда не жалел ни юношей, ни ребенком. И сейчас обида вытесняла из его души все остальные чувства.

Красное пятно на щеке, след пощечины, казался ему неизгладимым на всю жизнь. И сознавая свое бессилие уничтожить роковое клеймо, Марк только сжимал кулаки и скрипел зубами, в то время как смуглое лицо его с неправильными чертами и толстыми, как у негра, губами подергивалось, делая его безобразным.

Всю жизнь его били, жестоко и упорно, как бьет непокорных животных человек.

И когда однажды во время побоев черные глаза Марка сверкнули из-под густой, мелко вьющейся шапки волос, тогда его перестали бить, признав в нем силу. Побои прекратились, но обида осталась.

Напротив, с каждым годом она разрасталась, крепчая и распаясь по мере нарастания новых обид, еще более мучительных, нежели побои. Да и память о побоях не могла примирить его с теми, кто выжег в нем все лучшее с детства. Стыд, боль и бессилие вырвали из него крохи достоинства, и постепенно Марк становился диким животным, готовым показать клыки.

Так он жил, получеловек-полужверь, тая в себе ярость, презрение к окружающим, и его поступки, подчас злые, сеяли новое семя раздора с людьми.

Его перестали бить оттого только, что он был достаточно уже силен, как молодое животное, он понял это инстинктом. Теперь он был в безопасности, с тех пор как окрепло его мускулистое, упругое тело.

И вдруг новая обида, затмившая собою все прежние побои и оскорбления, прожгла его насквозь, перевернула все его существо, существо недоразвитого морально восемнадцатилетнего ребенка, озлобленного и лживого, жестокого и мстительного, настоящего дикаря.

И Марк не мог вынести этой пощечины, она душила, слепила, доводила до отчаяния, заставляя кататься по земле, грызть почву и рычать.

В первую же минуту оскорбление показалось ему вдвое нестерпимее оттого, что он, Марк, не заслужил его.

О, с каким наслаждением дал бы он исполосовать все свое тело плеткой, лишь бы не горела его щека! Все остатки человеческого поднялись в нем, взывая к мщенью.

Его черные глаза горят, как у волка. Полные губы полуоткрыты, обнажая хищно выглядывающие острые белые зубы. Ноздри вздрагивают. Сошедшиеся на переносице брови делают лицо Марка отталкивающим. Что-то накапливает в груди, что-то тяжелое подступает к горлу и давит, давит так, что еще немного, и он, Марк, задохнется. И он упорно смотрит на солнце, близящееся к закату.

Вот оно отвечает ему своей улыбкой, великолепной и одинаково ровной для всех. И точно само ждет его улыбки, царственное и милостивое, как всегда.

Но Марк не может улыбаться. Мрак сгущается в его глазах.

— Кто виноват?! — кричит он. — Кто виноват?!

Но солнце молчит. Ему нет дела до людей.

И Марк со злобою отворачивается от него. Потом взор его, с трудом оторвавшись от неба, направляется к стеклянной холодной красавице, важно несущей вперед зеленоватые воды. Марк давно и близко знает Неву. Как только он начал помнить себя, с первых же дней раннего детства. Как только научился он различать предметы, он помнил, что она бежит из темно-синего озера вперед к холодному заливу, который, слившись с нею на мгновение, отдает ее морю. Она все жалуется и стонет в своих берегах, похожих на обрывы, и в ее жалобном ропоте Марку слышится иногда шепот:

— Бедный Марк... Бедный Марк.

Иначе она и не может шептать, потому что Марк действительно несчастлив, и никто не может ни понять, ни любить его.

И в новом приливе отчаяния Марк зарывается в траву и смотрит в сторону, противоположную городу и озеру. Слева шумная, шипящая неугомонными котлами и машинами фабрика, а там, за нею зеленеют сосны и желтыми бликами сверкает песок в обнаженной почве обрыва. Там, дальше кладбище — тишина и спокойствие, вечный сон без боли, грез и желаний. Там затишье смерти и бессилие человеческой власти над себе подобными.

Власть... побои... пощечина... И опять пощечина...

Марк поднимает руку к лицу, дотрагивается до багрового пятна

на щеке и отдергивает пальцы, точно обжегшись.

— О-о, — стонет он и грозит кулаком в сторону фабрики. — Не забуду я, не забуду. Никогда, никогда!

* * *

Марк не был виноват. Сын управляющего фабрикой, молодой здоровый красавчик Глеб сказал ему утром:

— Знаешь-ка, я придумал славную штучку, пойдем.

И они пошли вниз под обрыв, прямо к реке.

Фабрика осталась за ними. Сбоку виднелось кладбище. Кресты и зелень Марк заметил сразу. Он понимал природу первобытно и светло, как дикий ребенок, считая ее заодно с собой.

Глеб, держа его за руку, обогнул мыс, выступающий в реку под самым кладбищем, и остановился.

Прямо перед ними прыгали и барахтались четыре белые фигурки по пояс в воде, с веселыми лицами, обращенными к берегу.

Это были три дочери управляющего фабрикой Лаврова, родные сестры Глеба. Вместе с ними купалась и дочь надсмотрщика из сортировочного отделения ситцев, Лиза Дорина, старшая из них, девушка лет восемнадцати-двадцати. Сестры Глеба казались совсем ребятами с их худенькими телами, как у подростков. При виде брата и Марка они стыдливо взвизгнули и ушли по горло в воду.

Теперь из воды торчали только круглые головки в желтых резиновых колпачках, казавшихся золотыми при ярком освещении полдневного солнца.

Лиза — полная, здоровая блондинка — первая нырнула и через миг выплыла в стороне, у большого камня с мокрой верхушкой.

Глеб расхохотался и, указывая Марку на них, кричал:

— Ага! Попались! Будете бегать без спросу? Отец не позволил купаться в открытом месте, а они постоянно поделывают это втихомолку, — пояснил он Марку и тем же смеющимся голосом крикнул, обращаясь к реке: — Пеняйте на себя, голубушки, а платье ваше я унесу домой как вещественное доказательство вашего непослушания. Да! Чтобы раз навсегда отучить вас от глупостей.

И, присев на береговой камень, он нагнулся, строб небрежно кинутое платье купальщиц в кучу. Подмял все под себя и, вынув из кармана папиросу, с наслаждением затянулся ею, не сводя глаз с реки.

Испуганные девочки ушли глубже в воду и ругались.

Три младшие, Анна, Китти и Даня, из которых старшей было шестнадцать лет, кричали сердитыми, визгливыми голосами. Кра-

сивая Лиза Дорина, хорошо известная всей фабрике за свою веселость и звонкий смех, стояла в самом глубоком месте и молча выжидала. Только синие глаза ее, перебежавшие от Глеба к Марку, растерянно и часто мигали.

Глеб курил и посмеивался себе под нос.

Марк не смеялся.

Девочки, ушедшие по горло в воду, ничуть не казались ему смешными, да и вообще он мало обращал внимания на них. Его занимала река в ярком освещении, позлащенная и прекрасная.

Ему часто приходилось видеть купающихся молодых фабричных работниц, и он равнодушным взором следил за ними.

Он привык встречать наготу всюду: и в реке, и среди улиц в поздний час, и в фабричном трактирчике, куда таскал его за компанию Глеб. И Марк привык к наготы, не замечая ее.

Он был так же чист, как и дик душою, несмотря на товарищество Глеба. Его воображение спало, и час его не пробил еще.

И потому ни три девчурки Лавровы, ни Лиза Дорина не интересовали его.

Напротив того, река заняла все его мысли. Он чувствовал ее как-то остро сегодня. И ее шепот: «Бедный Марк». И вздыхала она ровно и глубоко, и каждый вздох ее казался вылитым из металла.

Что-то жуткое было в ее недоговоренности, во всей ее прозрачной тайне, неизведанной, как смерть.

Марк замер без дум над давно знакомой ему картиной и вдруг вздрогнул от возгласа Глеба, спугнувшего его настроение.

Глеб уже не смеялся. Девочки в реке не бранились больше.

— Ладно, — срывалось с губ молодого Лаврова, — ладно, пощады просите? Будь по-вашему. Отец ничего не узнает. И платье я вам отдам тотчас, лишь только... Лиза придет за платьем ко мне на берег.

Едва он успел закончить свою фразу, как девочки всполошились и затрепали, как сороки. Они говорили так быстро и визгливо, что трудно было разобрать что-нибудь.

Только голова Лизы по-прежнему оставалась без движения у камня, в то время как остальные три головки во влажных чепцах сошлись в одну минуту в реке и почти соединились одним тесным кругом.

Средняя из сестер, Китти, закричала:

— Ты слышала этого дурака, Лиза. Выйди же на берег и отними у него платье.

Но Лиза только отрицательно покачала головою. Потом ее звучный голос задрожал над рекой:

— Что еще выдумаете! Срамницы!

И, помолчав с минуту, она добавила по адресу Глеба:

— Не балуйтесь, отдайте платье. Ну что, в самом деле? Отдайте!

Но Глеб только снова рассмеялся в ответ:

— Дурочка. Выходи скорее. Никто тебя не съест, ей-Богу!

Девочки снова затрещали все разом. Наконец они утихли, и снова послышался над водою голос Китти, смягченный, просящий:

— Слушай, Глеб. Не будь дураком, пусть уйдет Марк, и я выйду из воды и сама возьму платье.

— Нет-нет, — захохотал Глеб. — Нет-нет, тебя не надо, я не согласен: или пускай сама Лиза придет за тряпьем, или я швырну его в реку, даю тебе слово!

— Подлый мальчишка, — взвизгнула Китти и, подплыв к Лизе, заговорила раздраженно:

— Слушай, Лиза, ступай на берег. Ну, ей-Богу же, ступай. Что тебе? Не тебе будет стыдно, а ему же. А то отец узнает. И холодно... И потом... Ах, Лиза, Лиза! Всем нам достанется. Пожалуйста, ступай. Голубушка, милая!

— Да, да, Лиза! Голубка! Пожалуйста! — запищали Анна и Даня.

Но Лиза по-прежнему молчала и только покачивала в ответ головою в желтом чепце. Ей не хотелось сдаваться так скоро. И не то чтобы ей было обидно предложение Глеба или она особенно стыдilasя его. Нет.

Лиза Дорина была настоящей дочерью своей среды, того фабричного люда, среди которого вращалась с первых же дней детства.

Вместе с едким дымом, извергающимся из мощного фабричного горла и вьевшимся ей в поры, вкоренились в нее и те своеобразные принципы фабричных убеждений и условностей, которыми кипела окружающая жизнь.

Но ей хотелось поломаться перед «господами», показать минутную власть над всей этой детворой, над этими «хозяевами», которых она искренно презирала и без которых не могла обойтись.

Китти первая угадала ее мысли. Лукавая девочка, не по годам развитая и уже испорченная среди взрослых подруг, вмиг разгадала ее. И, дрожа от скрытого гнева, глядя почти с ненавистью на Лизу, она произнесла:

— Лиза, милушка, ступай. А за это я тебе брошку мою отдам, знаешь, ту, коралловую, с голубками... Лиза!

И Китти сердито заплакала. Ей было жаль брошки, и в то же время становилось холодно и неудобно в реке; потом, каждую минуту отец мог выйти на террасу дома и увидеть их купающимися на

открытом месте.

А Китти боялась отца, несмотря на то что он никогда не наказывал их, не бранил.

Отец Лавровых был целиком предан своему единственному дитищу — фабрике, которой отдавал все свое сердце и время.

И тем не менее, дети, особенно девочки, трепетали перед ним и его стальным взглядом.

И чтобы избежать этого взгляда, Китти снова затанула слезливым тоном:

— Ну, согласись, Лиза, голубушка, милая! Ведь брошка, ей-Богу, прехорошенькая. Даня! Анна! — окликнула она сестер. — Правду ли я говорю?

Болезненная Анна с худеньким, золотушным лицом, не ответила сестре. Ей было холодно.

Зато миловидная двенадцатилетняя Даня радостно подхватила слова сестры:

— Еще бы не прелесть! Чудо, что за хорошенькая!

Но Лиза Дорина и без них уже успела мысленно оценить достоинство брошки.

Соблазн был слишком велик. И она решилась.

Взглянув на девочек, потом на берег, она слегка высунулась из воды, обнажая плечи, потом внезапный густой румянец залил ее щеки, и Лиза стала хорошенькой, как никогда.

— Бесстыдники вы! — крикнула она Глебу и сорвала с головы желтый чепчик.

Она шагнула к берегу по колено в воде, как русалка, опутанная волосами, казавшимися теперь золотыми в ярких лучах полуденного солнца.

Марк взглянул на нее, на ее золотистые волны волос, и вдруг острый укол ярости вонзился в его сердце.

Сжав кулаки и закусив до боли губы, он взглянул на Глеба.

Глеб курил, поджидая девушку. Но в глазах его переливалось что-то недоброе. И губы Глеба, сжимавшие папироску, заметно подергивались у углов. И лицо его было бледно и странно.

И взглянув пристальнее в это лицо, Марк перевел глаза снова на Лизу, и мигом к чувству ярости примкнула обида, обида за ее покорность и бессилие.

Он задрожал, готовый броситься на Глеба и смять его.

Нечто подобное Марк испытал однажды в детстве, когда при нем жестоко избили дворовую собаку. В его сердце болезненно отзывался тогда каждый удар, предназначенный животному. Ее визг терзал

ему сердце, сгоравшее от боли и стыда. Торжество силы одного над слабостью другого доводило Марка почти до безумия.

И сейчас он почувствовал в себе тот же прилив бешенства, глухого и бессильного, как шумящий поток. И точно обезумел.

Ему захотелось оскорбить Глеба, чувствительно и метко, цинично и мучительно, ему хотелось прибить Лизу, принизить эту бьющую, сверкающую красоту за то только, что она не умела сбросить с себя своего постыдного бессилия. Но гнев, клокотавший в горле, путал его мысли и уродовал слова, срывающиеся с губ резкими, невнятными звуками.

Наконец, сделав над собою невероятное усилие, с багровым румянцем на щеках, он иступленно крикнул в упор, в самое лицо Глеба:

— Скотина!

И с воем метнулся прочь от берега, назад к обрыву, от этого проклятого Глеба и беспомощной Лизы, унося в себе почти нестерпимую боль обиды и ярость, беспредельную ярость, едва уместавшуюся в его иступленной душе.

Вечером отец подозвал его и спросил с тем страшным, ледяным спокойствием, которое всегда предшествует гневу:

— Что ты сделал?

Но Марк не знал вины за собою, и потому молчал, глядя исподлобья на отца с видом затравленного зверя, готового защищаться и ненавидеть.

И вот звонкий свистящий удар обжег его щеку и почти лишил сознания.

Потом ему сказали его вину: он сманил сына управляющего смотреть на купающихся и оскорбил его бранью.

Марк не оправдывался. Он понял подлую ложь Глеба и не удивлялся ей.

Здесь, в этом маленьком городе, лгали все от мала до велика: и на фабрике, и за черными шлюзами каналов, и у сине-темной Ладоги, над которой кропотливо и упорно облитые потом гонщики тянули барки и беляны по ровным, как лента, берегам каналов.

Лгала фабрика, лгала жизнь, лгали окружающие, лгали, борясь за право существования, из-за куска хлеба и тех грошей, которые так тщательно береглись за несколькими замками для того только, чтобы, выгланув из-под них, разойтись по миру, сея новую ложь, распри и пороки. И лгали зря, просто и бесцельно, потому только, что ложь была в мире и в них.

И оттого они и казались Марку воплощением зла и неправды.